

Владимир Галактионович Короленко

**За иконой**

**Короленко Владимир  
Галактионович  
За иконой**

Владимир Галактионович Короленко  
За иконой

I

Несколько дней стояло ненастье. Еще в ночь на девятнадцатое июня выпал обильный дождь, а утром облака висели по небу серыми клочьями. Но к полудню свежим ветром их сбило в сплошную тучу и понесло на север. Небо расчищалось, синело, солнечные лучи играли в лужах, на освеженной зелени висели капли, срывались и сверкали в воздухе.

- Порадела владычица, - вёдро у бога выпросила, - говорили богомольцы, кучками расположившиеся на улицах и на площади у собора, откуда в двенадцать часов должна была выйти икона.

- Пожалела православных. Гляди, и народу поприбавится... О-ох-хо-хо... На дождик-то мы не больно усердны...

Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновав затем овраги, я углубился в кривые, грязные переулки на окраине города и подошел к окну, на котором к стеклу было приклеено изображение сапога. Хозяин, Андрей Ива-

нович, выразивший вчера желание идти за иконой вместе со мною, сидел один за своим верстаком и угрюмо стучал по сапогу.

- Андрей Иванович! - окликнул я в окно. - Что же вы не собираетесь? Пора!

Он встрепенулся, но тотчас же скрыл движение радости, отложил сапог, открыл раму и потянулся в окно своим сухопарым туловищем. Внимательно взглядевшись в клочки чистого неба и в облака, уносимые ветром, как будто его решение зависит всецело от этого осмотра, а не от Матрены Степановны, которая начинает сильно ворчать в соседней комнате, - он решительным движением стаскивает со лба ремень, придерживающий волосы, и говорит:

- Иду!

Затем я присутствую при супружеском диалоге, для меня до известной степени одностороннем, так как ясно слышны мне только ответы Андрея Ивановича, а голос Матрены Степановны доносится лишь в виде бурного рокотания.

- Черт его бей! - говорит, во-первых, мой приятель, торопливо укладывая свои инстру-

менты. Потом, надевая чистую рубашку, прибавляет: - Подождет! Что, мне из-за него и богу не молиться!

- Нашла тоже благодетеля... Вон пару шью, - полтины за работу не очистится.

- Жила он, да! А ты как думала? Жила, сква- лыга, скнипа!..

Голос Матрены Степановны подымается при этих кощунствах супруга против "давальцев" на самые высокие ноты, но Андрей Иванович упорствует.

- И никогда не приравняю, - говорит он уже другим тоном, - тоном защиты, затягивая в то же время пояс. - Нашла к кому приравнять: по крайней мере, как бы то ни было, все-таки образованный человек, книги сочиняет... не им, живодерам, чета!

Так как в этой речи моего друга, хотя и снабженной столь многочисленными оговорками ("по крайней мере", "как бы то ни было" и "все-таки"), дело, очевидно, идет обо мне, то, из понятного чувства скромности, я несколько удаляюсь от окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же через минуту Андрей Иванович выбегает из калитки. Он

несколько красен, несколько взволнован, но во всей его фигуре видно оживление и торжество. К сожалению, я должен сказать, что минуты подобного торжества в супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты... Как бы то ни было, мы быстро шагаем по городским улицам. Андрей Иванович впереди, и мне видно, как у него нервно подергивается спина, как будто на ней есть глаза, в эти глаза видят оставленный назади дом, и у дверей фигуру Матрены Степановны, и как она стоит, упершись руками в бока и посылая нам вдогонку не христианские пожелания...

Между тем по улицам двигались уже кучи разряженных обывателей и обывательниц. Деревенский люд, богомольцы в "поклонники", собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из отдаленных сел и городов: из Балахны, Городца, Василя, - сидели на панелях, под стенами домов, разложив вокруг узлы, кошель и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где перед выходом из города служат молебны. Лавки на попутных улицах закрывались, торговля прекращалась, колокола гудели вдали, и звон разливался

над городом, как море, захватывая одну за другой церкви, все ближе и ближе.

Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом. Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились а испивали.

- Спаси вас господи, царица небесная, радетели...

У монастырских ворот конные и пешие городовые сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская одних, "которые почище", а "чернядь" отгоняя прочь. Нас пропустили, хотя с некоторым колебанием.

Против входа, на дворе, темным пятном среди пестро наряженных горожан выделяется отряд монастырских клирошанок. Впереди игуменья, среди рясофорных стариц, радушно раскланивается с именитыми горожанами. В задних рядах молодые послушницы, в конических шлыках, потупляют глаза перед любопытными взорами мирской толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взгляд,

заиграет лукавая улыбка. И потом голова наклоняется, потупляются глаза и черная тень надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородок... Становится как-то жутко. Чувствуется невольное в этой тени и трепетание молодой жизни, и, быть может, порыв, и, быть может, протест, и, быть может, глухая борьба...

Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и тревожные фантазии рассеются: здесь, в тихой обители, годам к шестидесяти приходит, вместе с телесною полнотою, душевный мир и то незлобивое спокойствие, с каким в ту самую минуту почтенная предводительница клира приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала.

Андрей Иванович дернул меня за рукав.

- Идем! Что нам здесь смотреть?.. Чернохвостые! - добавил он, кидая сердитый взгляд исподлобья.

Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над гулом идущей суетливо толпы слышен хор женских

голосов, поющих тропарь:

"Днесь светле красуется Нижний-Новгород, яко зарю солнечную восприимше..."

Через несколько минут процессия появляется в воротах. Наклоняясь над густой толпой, проносятся хоругви, парча волнуется и сверкает, тонкое резное серебро дрожит в синем воздухе. Кресты, сияния, фонари, затем золоченая риза иконы с темными ликами богородицы и младенца - все это будто плывет над обнаженными головами народа. Еще минута - и железные ворота, точно по волшебству, разрезают живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько пеших городовых, навалившись изо всех сил, подпирают ворота своими дюжими фигурами; сквозь решетки видно пять конных молодцов, тесно сомкнувшихся стремя у стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то ругается, два клира наполняют воздух пением, вверху гудят колокола и шумят деревья... Икона вносится в церковь.

II

Через полчаса, после молебна, икону про-

носят из монастыря к лагерю. Войска отгородили широкий квадрат у подножия церкви. Музыка играет "Коль славен...", раздаётся команда "на молитву", в ясном воздухе гудит и дребезжит бас диакона, чуть-чуть слышится пение хора, относимое ветром. После молебна икону, поставленную в киот, на длинных дрогах поднимают на плечи; трогаются вперед хоругви.

- Барин, вы, видно, до Оранок? - спрашивает, трогая меня за рукав, какая-то старушка.

- До Оранок, матушка.

- Владычице... свечку за меня, грешную. - Морщинистая рука тянется ко мне с пятаком.

- И от меня возьми, барин.

- И от меня.

Я принимаю поручение и кладу набранную сумму особо.

Невдалеке, уже на тракту, служат процессальный молебен. Здесь толпа начинает разделяться. Зонтики, шляпки с цветами, щегольские мужские шляпы отделяются по направлению к городу. Рыжие мужицкие гречневика, котомки, лапти, красные сарафаны деревенских молодых, кое-где мещанский си-

тец, белые платочки - все это отливает по тракту вперед. Нищие стоят по сторонам, протягивая руки. Дурачок Митька выкрикивает, стоя на холме, командные слова, какой-то долговязый юродивый размахивает палкой, бормочет что-то и бежит за толпой. Позванивая колокольцами, с трудом пробираются меж народом три или четыре почтовые повозки, в которых сидят два толстых монаха с лоснящимися и довольными лицами.

- Казну везут в монастырь, - говорят около нас.

Через несколько минут, выбравшись на более просторное место, ямщики трогают вожжи, колокольцы заливаются, а повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и исчезают из виду.

Впереди - пологий красивый подъем. Широкою лентой, окаймленная четырьмя рядами развесистых, старых берез, лежит дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная народом...

Но вот, в половине подъема, оказывается задержка. Торопливо пройдя полями, наперерез, из ближней деревни вышла на тракт кучка крестьян и стала в ряд, навстречу прибли-

жающейся иконе... И тотчас же около нее начинает как-то густеть и завиваться прегражденное течение людского потока.

Мы прибавляем шаг и слышим все яснее пронзительные причитания. Молодой женский голос, то испуганный, то жалобный, страдающий и молящий, разносится в воздухе, между тем как сзади, надвигаясь все ближе, растет торжественный напев тропаря.

- Кричит... - сказал Андрей Иванович.

- Кликуша... порченная... Под икону класть привели, - говорят кругом в толпе с живым интересом.

- Пока до Митина дойдем, штук десять выведут, - прибавил равнодушно какой-то молодой мещанин.

- Баловство одно! - кидает Андрей Иванович.

- Баловство и есть... Поучить бы хорошенько...

- Поучи-ить? - язвительно и звонко подхватывает какая-то бабенка. - Чем она виновата? Иная от вас и закричит, от учения вашего...

- Да, говори!.. Стоят этакие же вот две сороки. Одна и спрашивает у другой: "Ты ноне,

Аниська, станешь выкликать, что ли?" - "Нет, мол, не стану, сыро!" - "Ну так погляди у меня калачи, я покличу маленько..."

В толпе смех.

- А ты это сам слышал, что ли? - заступаются опять обиженные бабы.

Между тем около кликуши степенно и грустно стоят ее однопороденцы, а родные держат молодую женщину под руки. Толпа все приливает... Резкий крик... по временам плавное причитание, сменяющееся стонами и неистовым, надрывающийся воплем... Легкое облако пыли, пронизанное солнцем, колеблется между рядами берез... Глухой шум, будто от прорвавшегося потока, мерный топот десятитысячной толпы и волны клирного пения, объединяющего весь этот нестройный гул в одно могучее, захватывающее движение, - все это близится, вырастает, охватывает и подымает за собой, между тем как впереди, споря с общою гармонией, бьется какое-то одно жалкое, страдающее и непокорное существо с этим испуганным, надрывающимся голосом...

Мне становится жутко. Андрей Иванович

хмурился. Мы стоим в густой давке, на откосе тракта, а мимо нас, точно река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу с кликушей, которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в стороны...

Икона близко... Резкий, нечеловеческий вопль покрывает и смешивает на мгновение пение хора.

Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, подымает на плечи "порченую", которая судорожно бьется у него в руках, и, раздвигая поток человеческих тел, несет ее навстречу иконе... Пронеся несколько сажений, он кидает свою ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток смыкается, покрывая обоих...

Еще один подавленный крик... Ряды фонарей, крестов, хоругвей уже далеко впереди... Кругом только мерный топот и гул неудержимого, как стихия, человеческого потока. В клубах кадильного дыма, в волне торжествен-

ного пения, колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над этим океаном обнаженных голов, - над подавленным, строптивым воплем "одержимой"... Пение, все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается в воздухе, я сквозь редящий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест придорожных берез...

Молодая женщина лежит в пыли, на дороге. Она тихо вздрагивает и как-то по-детски плачет... Любопытные заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся вокруг "порченой", а странник, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе...

Жарко... Как-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдала мне плечи, и всю трудность пути за эту быстро уносящуюся толпой. Андрей Иванович остановился и смотрел вправо. Там, с крутого обрыва, виднеется гладкая излучина Оки. Река лежит среди сырых и парящих от зноя лугов, светлая, ровная. Оттуда, снизу, так и манит, так и веет свежестью и прохладой.

- Вот что, - решает Андрей Иванович, - надо

купаться!

- Далеко, милые, отстанете, - дружелюбно говорит какая-то богомолка, торопливо пробегающая мимо нас, но мы решаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орешником.

Тихий берег. Гребень обрыва скрыл от нас толпу с ее говором и движением. По временам на этом гребне мелькают цветные фигуры, в одиночку и парами, все реже и реже. Река плещет в каменистый берег. Вправо, верстах в десяти, из-за реющего тумана виднеются строения и церкви Канавина. На нашей стороне, дымя высокими трубами, бесшумно работает завод. После суетливого речного движения Волга ее соседка Ока производит странное впечатление. Как здесь тихо! Далеко, на той стороне, вдоль песков, скользит парусная лодка. Под горой ("яром", как здесь называют) по берегу движется темное пятно. Это бурлаки, которых вы почти уже не встретите по Волге, ведут бечевой небольшую барку. Пятно будто стоит на месте, и только после долгих промежутков видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверх по реке.

Дрянной окский пароходишко пробегает из Нижнего, гулко шлепая колесами среди пустынных берегов. На палубе никого не видно, даже на трапе пусто. Только, затерявшись у штурвала, виднеется одинокая фигура лоцмана.

### III

Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору, - дорога совсем опустела. У "мызы", на свежем воздухе, семья хозяина благодушествовала за самоваром. Несколько переселенческих телег стояли тут же с подвязанными сверху оглоблями. По всей дороге, взбегающей на горку, не было видно никаких следов крестного хода. Кое-где только по сторонам шли нам навстречу увлеченные общим течением и теперь возвращавшиеся обратно горожане.

- Далеко икона?

- В Новой деревне молебен отслужили.

Прибавив шагу, мы быстро миновали Новую деревню. Тут попадались уже отсталые. Пьяный мужик плелся неверным шагом, грустно помахивая из стороны в сторону своею кудрявою головушкой.

- Н-не догнать будет, мил-лаи... Н-и-и. Она, владычица-те, чай, уж куда улетела. В Борисове теперь... А мы, по грехам-те нашим, отста-ли вот... Ах, мил-лаи!..

И мужик долго качал сзади нас победною головушкой, объятый глубокой скорбью. Наконец, вероятно изнемогая в неравной борьбе с своею греховностью, он присел у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидели бедного человека с запрокинутою головой, и что-то вроде бутылки сверкало в его руках на солнце. Вскоре только красное пятнышко, лежавшее на зеленом фоне придорожной муравы, обозначало место победы греха над благочестивым стремлением...

Впрочем, кудрявый мужик не один испытал эту горькую участь. В тени березок, а иногда и в грязи канав, то и дело попадались нам тела других павших.

А вот на свалившемся и полустгнившем дереве отдыхает какая-то компания. Седой еврей в солдатской шинели, с громадною лохматою бородой и белыми кудрями да еще три-четыре мрачных субъекта более или менее сомнительной наружности... Седой ста-

рик, очевидно, пристал к ним сейчас. Один из компании наклоняется к его уху и кричит:

- Ступай ты, служивый, от нас. Не рука нам, значит... Иди, иди!

- А-яй! Глухой я, ничего не слышу... А прежде на бубен играл... Ай-ай, как я играл на бубен...

Долговязый, черный золоторотец флегматично поднимается с бревна, берет старика за шиворот и ставит на дорогу. Порядочный толчок сильной руки показывает служивому, что от него требуют. Подхватив котомку и тревожно оглядываясь, старик суетливо бежит по тропинке. По-видимому, только теперь он сообразил, что имеет дело не с праздными дорожными зеваками, которым любопытно знать, как он играл на бубне, а с людьми, которые заняты делом. Рать богомольцев имеет своих отсталых и павших, а это мародеры. Они смотрят на нас, сидя на своем бревне, как коршуны, из-под насупленных бровей. Только один, с толстою физиономией, одетый в женскую кургузую кацавейку, глядит веселее и даже не без юмора.

- Что, отстали, господа? - спрашивает он.

- А вот, - угрюмо отвечает мой спутник, шагая мимо, - смотрим, не попадетсЯ ли где работишка...

- Какая?

- Грузчики мы, карманы выгружаем, - отвечает Андрей Иванович невозмутимо.

- Ишь журавль долговязый!

- Что ты ругаешься?

Андрей Иванович мгновенно поворачивается. Его странные, глубоко сидящие глаза сверкают из-под шапки рыжих волос (картуз у него спрятан в котомке). Он большой любитель кулачного боя и считает ниже своего достоинства справляться о числе противников. Несмотря на долговязость и сухощавость, его фигура обличает незаурядную силу. Длинные сухие руки заканчиваются громадными красными кулаками. Сомнительные субъекты мрачно оглядывают его, производя безмолвную оценку. Только кацавейка, по-видимому, готова принять вызов.

- Сиди ты, "машка"! - останавливают его. - А вы, господа, идите себе своей дорогой.

- И то идем. А ты не моги нам указывать... - горячится Андрей Иванович.

- А ты не горячись, - высказывает кацавейка, - я, брат, и сам с усам. Ка-ак махну...

- Ты?

- Я.

- Меня?

Андрей Иванович, отставив кулак назад, подходит грудью к кацавейке, великодушно подставляя под удар не защищенную физиономию. Я знаю, что в эту минуту самое горячее желание Андрея Ивановича состоит в том, чтобы кацавейка осмелилась его ударить. В груди у него кипит и подымается что-то такое, что может получить естественный исход лишь в случае оплеухи со стороны противника. А уж тогда последуют со стороны Андрея Ивановича истинные чудеса неустрашимости.

Однако бой не состоялся. С одной стороны, я усиленно удерживаю Андрея Ивановича. Это очень трудно. Его железная рука легко отмахивается от меня.

- Уд-ди! Не трог! - кидает он в мою сторону довольно грубо. С другой стороны, черный золоторотец отталкивает кацавейку. Мрачный субъект, по-видимому, человек серьезный, и

весь эпизод сердит его, как глупая шалость, мешающая "работе".

Как бы то ни было, поле остается, бесспорно, за Андреем Ивановичем. Отставив правую руку назад, приподняв левое плечо кверху и весь подавшись вперед, он гордо стоит на месте, между тем как противники, огрызаясь, уходят в том направлении, где на травке алеет кумачная рубаха скорбевшего о грехах мужика.

Через минуту, круто повернувшись и не говоря более ни слова о происшедшем, Андрей Иванович шагает по дороге как ни в чем не бывало.

#### IV

У небольшого поселка Ольгина дорога разделилась. По старому Московскому тракту, протянувшемуся на Горбатов и далее на Муром, рассыпаны пестрые кучки крестьян, которые выходили навстречу иконе из ближних деревень и теперь возвращаются обратно... Арзамасский тракт ушел влево.

Отсталых все больше и больше, но главной массы богомольцев не видно вовсе. Деревни, через которые приходится идти, точно выме-

ло, - жители провожают икону до следующих деревень, а иные присоединяются к богомольцам до Оранок. Только квасники-лавочки еще не убрались и считают под навесами медяки, оставшиеся в выручках после только что отлившей людской волны.

- Кваску, господа, не угодно ли?

Мы пьем везде, где только возможно. "Для ходу человеку квас очень пользителен, - философствует Андрей Иванович. - А для отдыха, заметьте себе, квасу не кушайте, а более чай".

- Что, хорошо ли торговали? - спрашиваю я у торговца, оттирающего платком потное, красное лицо.

- Ух, господин, чистая беда! Главное дело - безобразно очень: все деньги вперед надо спрашивать. Не доглядишь - он выпьет, потом идет себе, более ничего.

- Или теперь со сдачей... - меланхолически добавляет торговка. - Дает гривенник, а сдачи просит с пятиалтынного.

Андрея Ивановича почему-то оскорбляют эти обвинения.

- Не грех богомольцу и даром кваску поднести, - сообщает он свое решительное мне-

ние.

- Наше дело торговое, - холодно отвечает лавочник.

- Живодеры вы, вот что! - говорит мой приятель уже на ходу, но его замечание, по-видимому, не доходит по назначению.

- Назад пойдете, может, ночевать к нам не зайдете ли! - звонко и приветливо кричит торговка вдогонку.

- Вот они, торгаши, - ты ему плюнь в глаза, а он говорит: "божья роса!" Ничтожный народ.

Андрей Иванович имеет обыкновение выражаться резко в определенно; его симпатии и антипатии, как и все поступки, отличаются быстротой, решительностью и некоторою парадоксальностью. Он - отличный работник и примерный семьянин. В молодости года три он сильно пьянствовал и даже валялся в лужах, но потом вдруг остепенился. Чтобы закрепить это обращение на путь истины, отец решил женить его на Матрене Степановне, немолодой и некрасивой девушке, обладавшей резким голосом и очень твердым характером. Андрей Иванович не вышел из роди-

тельской воли, и с тех пор жизнь его пошла ровно. Матрена Степановна держала его круто, но, впрочем, и сам он понимал свои обязанности. Работник он был примерный, пользовался нераздельно доверием заказчиков на Яриле и Новой Стройке (окраинных частях города), трудился с утра до вечера, с "давальцами" обращался очень почтительно. Только когда на время "снимал хомут", как сам он выражался, тогда сразу становился другим человеком. В нем проявлялся строптивый демократизм и склонность к отрицанию. "Давальцев" он начинал рассматривать как своих личных врагов, духовенство обвинял в стяжательстве и в чревоугодии, полицию - в том, что она слишком величается над народом и, кроме того, у пьяных, ночующих в части, шарит по карманам (это он испытал горестным опытом во время своего запойства). Но больше всего доставалось купцам.

- За что вы его обругали? - спросил я на этот раз.

- А вам жалко? - и он кинул на меня короткий взгляд исподлобья. - Я так об них полагаю, что будь я министр, всех бы их запретил.

- Как же тогда - город остался бы без лавок, без товару?.. Кто бы стал заказывать вам сапоги?..

- Как-нибудь иначе придумали бы. Мало ли способов!..

- Как же бы вы придумали? Интересно.

- Да что вы ко мне пристали: как да как? Ежели я сапожник, то, стало быть, это не мое дело. Что я знаю? - шило да подметку, товар да колодку, больше ничего. А может, дайте вы мне большие тысячи, чтобы мне книжки читать, да всякие там бумаги, - я бы придумал. Уж это верно, что придумал бы. А что вы насчет заказчиков говорили, на это я вам вполне могу ответить. Вы вот о чем рассудите: мой отец двенадцать работников держал, а я только двух, и тех еще по времени отпускаешь. Почему так?

- Может быть, сами работники в хозяева выходят?

- Не туда гнете: в хозяева! Вот недавно еще было дело: стал я пьянствовать, отец меня прогнал. И сейчас меня, пьяницу, три хозяина зовут. А теперь вон сколько подмастерьев шапается, из хлеба одного готовы работать, - ни-

кто не берет. Это вы можете понимать, стало быть, как они в хозяева выходят. Нет, что уж...

Андрей Иванович машет рукой и многозначительно замолкает. Вся его фигура в эту минуту показывает, что если дела так пойдут дальше, то за последствия он отвечать не возьмется.

В это время сзади нас нагоняет тарантас, запряженный тройкой. Мужик в кумачовой рубаше погоняет лошадей. В телеге сидит молодой, хорошо упитанный купеческий сынок с бутылкой в руке. Чьи-то ноги свесились из-за переплета. На купце надет рыжий картуз, возница щеголяет в касторовой шляпе. Вся компания, очевидно, сильно под хмельком. Купчик наклоняется с сиденья, чтоб ущипнуть одну из трех мимо идущих богомолков. Девушки визжат, компания хохочет, лошади, испуганные шумом, трогают быстрее. Андрей Иванович останавливается в негодовании.

- Вот вы их защищаете. Смотрите сами: тоже ведь на богомолье собрался! Мы вот с вами идем пешком, изустанем, - неужто нам это озорство пойдет на ум? А в нем сила играет, потому что легкие деньги, вот что! Легкий

хлеб это играет... Н-ну, попадись мне этот богомолец где-нибудь, что я над ним сделаю!..

Андрей Иванович злобно сжимает кулаки, грозит вослед тарантасу, неистово раскачивающемуся на ухабах, и затем прибавляет с горечью:

- Дурак едет на скотине, умный век пешком идет!.. Стих так говорится... И верно!

V

Пройдя еще с полверсты, Андрей Иванович толкнул меня локтем и круто остановился.

- Гляди-ка, старушка-то... ай-ай-ай!

В стороне, по тропинке, опираясь на палку и сторбившись, плелась какая-то старуха. Очевидно, каждый шаг давался ей очень трудно. Сгорбленная спина качалась, голова, опущенная вниз, дрожала, ноги передвигались с трудом. Она не поднимала глаз и сосредоточенно смотрела только под ноги, отмеривая шаг за шагом своего многотрудного пути.

- Матушка, а матушка! - окликнул ее Андрей Иванович.

- Что тебе, касатик?

В голосе старушки слышалось усилие. Она

подняла сморщенное лицо с потускневшим взглядом и посмотрела на Андрея Ивановича, продолжая шагать по-прежнему.

- Ты как же это, а? - недоумевал мой впечатлительный спутник. - Чай, ведь трудно?

- Трудно, родимый, трудно! Главное дело - ноги вот, ноги не ходят, стара.

Слеза выкатилась из моргающего глаза и упала на песок дорожки. Андрей Иванович делал какие-то нелепые движения, что у него служило признаком внутреннего волнения.

- Нешто этак возможно? Ведь тебе никак не дойти.

- Авось матушка владычица донесет. Пора-деть хочется. А что, далеко ли еще до Каменки, до ночлегу?

- Верст еще двенадцать...

- Ох, батюшки, далеко!.. Иди, иди, касатик. Не смотри на меня, старую... Негоже вам глядеть-то... Ноженьки-то у вас резвые, а я, вишь, измучилась... Не замай, проходите, родимые...

Мы двинулись дальше, и оба долго молчали. Наконец, остановившись, по обыкновению, неожиданно, Андрей Иванович посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом.

- Неужели это она напрасно?.. Думаете, не зачтется? Не может быть, враки!..

И хотя я не думал даже возражать, Андрей Иванович крепко ударил палкой по стволу ближайшей березы и быстро пошел вперед.

Вскоре мы обогнали трех богомолков, которых недавно задевала пьяная компания. Одна была немолода, две - молодые девушки, по-видимому, мещанки или горничные. Все они быстро шлепали босыми ногами. Когда мы поравнялись с ними, они прибавили шагу и шли вровень, хихикая и жеманясь. Андрей Иванович, не обращая внимания, шагал своей журавлиною походкой: я едва поспевал за ним. Это безмолвное состязание как будто сблизило нас с женщинами.

- И что это, право, какие кавалеры, - сказала старшая из них, запыхавшись и стирая пот ситцевым рукавом, - замучили вовсе...

- А вам какая надобность гоняться? - спросил Андрей Иванович. Я заметил, что его брови хмурятся и глаза будто уходят глубже. Но девушки приняли его ответ за вызов на дальнейший разговор.

- Да ведь, чай, в компании-то веселей, -

бойко сказала ближайшая. - Мы видим, что вы кавалеры обходительные, не сиволапые мужики...

- Конечно, веселей, - кинула другая, - что в пути, что на ночлеге...

Все они засмеялись. Но Андрей Иванович, еще не освободившийся от впечатления, произведенного на нас обеих старухой, внезапно остановился, вперил на девушку свои колющие впалые глаза и спросил:

- Вы какое это слово сказали, а? Нет, вы какое слово сказали?

Озадаченные мещанки удивленно посмотрели на него и быстро бросились в сторону, так как Андрей Иванович вдруг впал в тон обличителя. Он поднял руку и, потрясая ладонью над головой, называл девушек сороками и срамницами, между тем как они быстро шлепали по тропинке босыми ногами. Догнав первую кучку богомольцев, они принялись что-то оживленно рассказывать им, указывая назад.

- Сороки короткохвостые, право, сороки! - говорил Андрей Иванович, довольный произведенным впечатлением. - Нету в этом наро-

де никакого понятия...

- Это вы насчет горничных?

- Вопче, женщины.

- А Матрена Степановна?

- Ну, что такое Матрена Степановна? - та же баба! Недаром еще Пушкин сказал: все, говорит, одинаковы, и имя им ничтожество. А уж на что сочинитель был известный.

- Андрей Иванович, Пушкин этого не говорил.

- Ну, вот, не говорил!.. Когда бы не сам я читал... Конечно, - прибавил он через минуту, не без меланхолии, - в прежние года, когда я был холост, тогда и самому лестно было. А то, вишь, к женатому человеку...

- Да им почем знать, что вы женаты?

- Знают... А не знали, так теперь будут знать.

## VI

Пройдя село Митино, мы увидели толпу у Вязовки. Только часть богомольцев вошла с иконой в деревню, другая сворачивала ближайшим путем, под высокими мельницами, выходя под углом на боковую дорогу, которая вела в Каменку. Оставалось пройти еще де-

сять верст до ночлега.

Когда мы подошли к мельницам, процессия выходила из села. Лучи заката играли на серебре хоругвей. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе, жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами, смешиваясь с приближавшимся пением хора. Человеческие голоса звучали среди полей, под тихим дыханием угасающего дня, как-то особенно гармонично и мягко.

По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. Из Каменки, навстречу иконе, выходили крестьяне. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья: седой старик со старухой впереди, рядом сын-большак, поодаль молодуха. Две или три детских головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшеюся рожью.

- Насчет хлебушка прибегают к владычице. Мало ли что может случиться? град, засуха, червяк...

- Благодать! - говорит Андрей Иванович. -

И складно же поют, ах, братцы мои!

- Женщина там одна... тоже выводит.

Действительно, молодой женский голос, вырываясь высокими нотами, развеивается с вечерним ветром над полями, сверкает, как лучи закатывающегося солнца, и гаснет где-то в ясной вышине вместе с этими лучами.

Однако идти трудно. "Богоносы", наклоняясь, будто готовые упасть под тяжестью хоругвей, несутся двумя рядами вперед, понукая передовую толпу.

- Пятки, пятки! - покрикивают они то и дело.

Высокая рожь мешает сойти в сторону, и мы почти бежим впереди. Урядник, выехавший навстречу, гарцует среди женщин и ребят, гордо красуясь на славной серой лошадке. На небе зарисовывается гребень холма, и черные крыши выступают на нем правильными очертаниями.

Тем не менее еще далеко. Вечер спустился на землю. Луна ярким серпом повисла над мгlistой тучей: над полями залег синий, неопределенный, таинственный сумрак, наполненный сыростью и золотистым сиянием,

которое так скрадывает все очертания. Оглянувшись назад, я вижу, что мы оставили процессию далеко позади. Огни фонарей тянутся искристою лентой в долине, вьются, изгибаются, вытягиваются и по временам освещают золотую ризу иконы, которая то выступает из мрака фосфорическим сиянием, то исчезает опять среди темноты.

Вот и первые избы селения. Мы сделали с четырех часов тридцать верст. Плечи отдала котомка, ноги подкашиваются, я почти падаю от усталости.

- А что-то наша старушка? - сосредоточенно произносит Андрей Иванович, когда мы проходим по деревне, среди освещенных окон, где видны на столах самовары и отдыхающие богомольцы. В моем воображении рисуется старая, сторбленная фигура, все так же бредущая среди темноты. Теперь никто уже не смутит непрошеным сожалением ее тяжелого добровольного подвига. Только рожь шепчет по сторонам, да луна смотрит с неба на выбивающегося из сил старого, отжившего человека...

- Чай, что ли, пить? К нам заходите, к нам!

Андрей Иванович, не слушая этих зазываний, твердым шагом направляется к другому концу улицы, подальше от церкви. Здесь также светятся окна, видны ярко вычищенные самовары на столах, но народу не так еще много.

- Дядя Иван!.. Эй, дядя Иван!..

Белая борода дяди Ивана наклоняется к окошку.

- Богомольцев пускаешь, что ли?

- Знакомых, друг, пускаем... Потому заняты места-те у нас.

- Что, ай не узнал?

- Богату быть, Андрей Иванович, богату быть... Ну-ну, полезай в избу-те.

За столом сидят уже несколько человек, все публика почище. Женщины в городских мещанских платьях, мужчины в пиджаках, по-видимому, ремесленники. Хозяин только что убрал один самовар и поставил другой. Чай пили богомольцы свой; каждая компания получала в свое распоряжение чайник.

Я повалился на скамью, опершись спиной на стену. Не хотелось ни двигаться, ни развя-

зывать котомку. Чувство особенного наслаждения, когда усталые члены мозжат и ноют, но зато все тело отдается ощущению отдыха и покоя, охватило меня всего. Андрей Иванович разделся, развязал котомку и даже снял сапоги.

- А ночевать куда положишь? - спросил он у хозяина.

Дядя Иван, благообразный старик с мягкими манерами и старчески лукавым лицом, озабоченно почесывал затылок.

- Вот уже не знаю. На дворе разве. Крытый двор у нас.

- А в задней избе?

- Заднюю проезжающие заняли. Степан Ерофеича, из города, не знаете ли?

- Толстомордый?

- Ну-ну!

Андрей Иванович толкнул меня локтем.

- Это которых мы видели, безобразники-то... По шее их гнать, а ты в избу пуцаешь!..

Старик озабоченно оглянулся и закашлял. Напившись чаю, богомолки и богомольцы выходили из-за стола и уходили из избы. Мы

с Андреем Ивановичем, захватив большую охапку сена, расположились на дворе, под навесом, у стены задней избы. Фонарь кидал колеблющийся свет, выпугивая воробьев из-под высокой соломенной крыши. Где-то в темных углах чавкали лошади, коровы жевали жвачку, похрюкивала свинья. Где-то еще слышались голоса богомольцев, улегшихся на соломе, кто-то копошился в кузове старого тарантаса. Свет луны прорывался сквозь щели плетеных стен. С улицы доносились шаги прибывающих странников. Они то и дело стучали в окна и усталыми голосами спрашивали:

- Ночевать, ночевать, родимые, не пустите ли?

Я не заметил, как заснул, и опять проснулся от странного шума. Казалось, что-то громадное, стуча, всхрапывая и шелестя, надвигалось на меня, заполняя неопределенную тьму. Понемногу, однако, я стал осваиваться с этим шумом: это, во-первых, Андрей Иванович жестоко храпел рядом. Во-вторых, петух, обеспокоенный необычными звуками, сошел с на шести и, осторожно шурша по соломе, пробирается у самого моего уха, почти каса-

ясь головы своими крыльями. Вот он вышел на середину двора, и шуршание его легких шагов теперь принимает в моем сознании настоящие размеры... Я вижу, хотя и неясно, его небольшую фигурку, вижу, как он расправляет крылья и вытягивает шею.

- Ку-ка-ре-ку! - раздался вдруг резкий, будто слегка охрипший от ночной сырости голос.

Другой петух зашевелился и пробормотал что-то сонно и сердито. По-видимому, он находил, что еще рано.

Вслед за только что смолкшими переговорами петухов я услышал в темноте двора еще какие-то звуки. В старом кузове тарантаса шептались два голоса один мужской, другой женский. Из-за стены с некоторых пор несут какой-то топот, стукотня, песни и гул пьяных голосов. Влево от нас кто-то невидимый быстро зашевелился, и молодой женский голос испуганно спросил:

- Кто тут? Ай, тетка Федосья, тетка Федосья!

- Что тебе? - говорит недовольно старуха. - Эй ты, чего подкатился, озорник. Мало, что ль, места тебе? У меня живо откатишься...

Озорник громко и тенденциозно всхрапы-

вает, очевидно прикидываясь спящим. Однако встревоженное стрекотание проснувшихся деревенских девушек вскоре заставляет озорника ретироваться. В это время Андрей Иванович, даже в сонном состоянии не теряющий порывистости движений, завозился на сене так внезапно и сильно, что даже у меня мелькнуло сомнение: неужели это он сейчас юркнул на свою постель... Впрочем, нет. Не говоря уже о непоколебимой добродетели моего спутника, я все время слышал около себя его храп.

- Что это вы расстрекотались, сороки? - проснувшись, спросил он, с обычным пренебрежением к женскому сословию.

- А-а, проснулся небось... Озорник! - сказала тетка Федосья.

- Ишь где очутился! Туда же, храпит... Нешто сонный "так откатится?

- Да это кто такой? - спросил еще чей-то голос.

- Сапожник это из городу. В Ивановом доме живет.

- О? Да я и бабу его знаю.

- Ах, озорники эти сапожники! Супротив

сапожников других таких и нету! Ох-хо-хо! Только ведь засыпать начала...

- К нам по дороге приставал! - бойко выносятся из тарантаса звонкий и лукавый девичий голос. Я узнаю по этому голосу одну из мещанок, которым Андрей Иванович читал мораль. - И до такой степени приставал, то есть до такой степени, что и сказать невозможно...

- Мамынька! Я тятке на него скажу, - плаксиво говорит испуганная девушка.

- Нишкни. Ужо мы евойной бабе все расскажем...

- О, ш-штоб вв-вас! - тихо и злобно шипит Андрей Иванович, видя, какой опасный оборот принимает дело. Упоминание о супруге при таком подавляющем стечении улик окончательно лишает его самоуверенности, и потому он делает самое худшее, что мог бы сделать в своем положении, а именно - вытягивается на постели и пускает притворное сопение, прикидываясь заснувшим.

- Храпит... здесь вот этак же храпел, притворщик... Ох-хо-хо! Грехи, грехи...

Вскоре под навесом водворяется тишина.

Притаившиеся на время голоса в кузове тарантаса опять возобновляют тихую и мирную беседу. Из-за стены слышатся визг и хохот. Андрей Иванович ворочается, бормочет что-то и по временам кого-то тихо ругает. Я начинаю забываться. Мне опять видится одинокая старушка. Она все еще плетется по опустевшей дороге, между побелевшими от росы ржавыми полями. Андрей Иванович идет впереди ее, размахивая руками, и кому-то угрожает: "Что-о... не зачтется ей?.. Нет, враки, не туда гнете!.."

- Не туда гнете! - слышу я уже наяву крик Андрея Ивановича. - Меня не испугаете! Нешто этакое озорство дозволяется? Спать не даете, гульбу завели, соблазн! Богомо-ольцы!.. Озорники, лодыри, гуляки!..

Я не сразу мог сообразить, в чем дело. Светает: снаружи первые, еще рассеянные лучи просверлили уже в нашем плетне круглые горящие отверстия. Свет расплывается в сыром воздухе, воробьи чирикают под застрехами; в углах темно и прохладно, Андрей Иванович, босой, со всклокоченными волосами, стоит у сеней, перед входом в заднюю избу, и, по-ви-

димому, обличает ночных гуляк. Хозяин, тоже босой, унимает его:

- Ты вот что! Ты у меня в доме сам себя ве-  
ди посмирнее.

- А ты что из своего дома сделал, а?

- Не твое дело. Тебя пустили, ты ночуй бла-  
городно, а беспокойства делать не моги.

- Что там опять? - просыпаются богомоль-  
цы.

- Сапожник из городу буянит.

- Сапожни-ик?

- Да, в Ивановом доме живет который. Та-  
кой озорник, беда! Ночью этто к девкам так  
шаром и катится, так и катится...

- К нам на дороге до такой степени приста-  
вал, - подымает румяное лицо из тарантаса  
мещаночка. Теперь она в тарантасе одна и  
имеет вид самого невинного простодушия.

- Бока намять! - категорически заключает  
хриплый и сонный бас.

- О, штоб вас! - стонет опять Андрей Ивано-  
вич, ложась рядом со мной. Н-ну, нар-род!  
Этакого народу в прочих государствах поис-  
кать... Ей-богу... Тьфу!

- Охота вам, Андрей Иваныч, во все вмешивать!

ваться... - говорю я, едва удерживаясь от смеха.

- Карахтер у меня такой. Не люблю озорства.

- Вот и расплачивайтесь. Вам же и достанется...

- А что вы думаете? Ей-богу, правда. И всегда я же в дураках остаюсь... Н-ну, однако, попадетса мне еще этот купец. Я ему, погодите-ка, нос утру. Будет помнить...

И через минуту, наклоняясь к моему уху, он тихо прибавил:

- А уж вы, Галактионыч, в случае чего перед Матреной Степановной как-нибудь того, не выдавайте... Ах, народ же... то есть до чего наш народ несообразен, так это даже удивительно!

### VIII

День разгорался жарко. Икона тронулась опять часов с десяти. Мы вышли немного вперед, но идти было не легко. Ноги двигались с трудом, все члены ныли. Однако понемногу усталость как будто проходила.

Кое-где небольшой лесок скрывал нас своей тенью от жаркого солнца, но большею ча-

стью по бокам волновалась поспевающая рожь. Иногда на нашу дорогу выбегал проселок от какой-нибудь ближней деревни, и на этом перекрестке стояли у маленьких "часовенок" деревенские иконки. Какой-нибудь седой старик с обнаженной головой сидел на припеке у блюда, покрытого чистым полотенцем. У каждой такой часовенки икона оставалась, служился молебен. Тогда вокруг иконы делалась давка. Народ рвался к ней, стараясь приложиться к стеклу киота. Сгибаясь, проходили они под шести, на которых икона была поставлена, давя друг друга и теснясь, и тянулись к иконе. Теперь, на просторе полей, у этих часовенок, среди раскинувшейся и поредевшей толпы, икона стала как будто ближе и доступнее. Тут, собственно, ее окружал тесный кружок настоящих богомольцев. Страждущий, болящий, немощный и скорбящий люд охватывал икону живою волной, которая вздымалась под влиянием какого-то особенного притяжения. Не глядя друг на друга, не обращая внимания на толчки, все они смотрели в одно место... Полупотухшие глаза, скорченные руки, изогнутые

спины, лица, искаженные от боли и страдания, - все это обращалось к одному центру, туда, где из-за стекла и переплета рамы сияла золотая риза и голова богоматери склонялась темным пятном к младенцу. Из глубины киота икона производила особенное впечатление. Солнечные лучи, проникая сквозь стекло, сверкали смягченными переливами на золоте ее венца; от движения толпы икона слегка колебалась, переливы света вспыхивали и угасали, перебегая с места на место, и склоненная голова, казалось, шевелилась над взволнованною толпою. Тогда потухшие глаза и искаженные лица оживлялись. По всем этим лицам проходило какое-то веяние, сглаживавшее все различные оттенки страдания, подводившее их под общее выражение умиления. Я смотрел на эту картину не без волнения... Такая волна человеческого горя, такая волна человеческого упования и надежды!.. И какая огромная масса однородного душевного движения, подхватывающего, уносящего, смывающего каждое отдельное страдание, каждое личное горе, как каплю, утопающую в океане! Не здесь ли, думалось мне, не в этом

ли могучем потоке однородных человеческих упований, одной веры и одинаковых надежд - источник этой исцеляющей силы?..

Когда короткий молебен кончался и икононосцы принимались за шесты, многие склонялись или даже ложились на землю. Но, опять, здесь это было как-то проще, более трогало и никого не пугало... Икона вздрагивала, подымалась и, плавно колыхаясь, проносилась над распростертыми людьми. Счастливицы, над которыми она проходила, вставали с умиленными лицами.

## IX

Остановки здесь были очень часты, поэтому мы с Андреем Ивановичем далеко опередили ядро богомольцев.

Против одной деревеньки, живописно раскинувшейся в версте от дороги, на холмике, мы наткнулись на оживленную картину. Вдоль нашего пути в нескольких местах были выстроены зеленые шатры, в тени которых стояли столы и дымились самовары. На траве с одной стороны дороги сидели бабы с ведрами квасу и с хлебом, на другом - курились огоньки, над которыми жарились на сковоро-

родках грибы. Картина импровизированного базара была оживленная и шумная.

- Две копейки, две копейки всего! Грибов отведайте, почтенные! - весело зазывали красивые, нарядные молодницы.

Я уселся около одной из сковородок и позвал Андрея Ивановича.

- Не кушайте грибов! - сказал он мрачно и как будто намекая на что-то.

- А что?

- Раскольники! - крикнул он как-то в сторону и отвернулся.

Я засмеялся; но Андрей Иванович пошел, не останавливаясь, дальше. Действительно, среди этих красивых и по-праздничному разодетых баб я не заметил того благоговейного ожидания, с каким встречали икону в других местах. Они весело болтали, громко пересмеиваясь, зазывая проходящих. Среди них царило, по-видимому, одно только желание поживиться от этой толпы.

Отведав невкусного яства, сильно отзывавшего плохим постным маслом, я тронулся в дальнейший путь и, спустившись с небольшого холма, наткнулся неожиданно на новую

сцену. На дороге, среди кучки плутовато по-смеивавшихся раскольничьих красавиц, Андрей Иванович являл новые примеры неустрашимости. В стороне стоял знакомый уже мне тарантас: распряженные лошади ели овес, а хозяева оживленно спорили с Андреем Ивановичем.

- А! на паре вы ездите! - кричал Андрей Иванович купеческому сынку, одетому, как вчера, в мужицкий картуз. - Я на тебя не посмотрю, что ты едешь на паре... Много я вашего брата учил...

Он подвигался к противнику, так же, как вчера, подставляя щеку. Один из товарищей купчика, субъект в длиннейшем пиджаке и в картузе с огромным козырьком, еле стоявший на ногах, путаясь, заплетаясь и балансируя, то и дело подходил к Андрею Ивановичу с воинственным видом, но каждый раз отлетал далеко в сторону от легких толчков последнего. Мужичок-возница, в кумачовой рубахе и касторовой шляпе, оказывал более деятельную помощь купцу, и потому Андрей Иванович по временам схватывал его за грудь и сильно сотрясал. Купец замахивался

зонтиком, но ударить не решался, несмотря на то, что Андрей Иванович всячески поощрял его к этому.

- Ну, что же, ударь, ударь... Я и жинку-то знаю, которую ты вчера приводил... Егорки Михалкинского баба, а?.. Н-на паре ездешь, форсишь!.. Безобразничать вам только... Богомольцы!..

Но молодой купчик, видимо оробевший, все только замахивался своим зонтиком. Тогда, потеряв терпение и предвидя мое вмешательство, в смысле примирения, Андрей Иванович вдруг дал совершенно неожиданный исход своей ярости. Кинувшись к мужику-вознице, он схватил его одною рукою за грудь, а другою потянулся к касторовой шляпе.

- Ты з-зачем евоюю шляпу надел, зач-чем н-надел шляпу, а? - спрашивал он сдавленным от ярости голосом и, сорвав ненавистную шляпу, вдруг бросился к купцу, быстро сшиб с него картуз и сильным движением нахлобучил ее ему на голову.

Озадаченная мина купца вызвала всеобщий хохот; но так как после этого оскорбле-

ния он все-таки только взмахнул своим зонтиком, то терпение Андрея Ивановича окончательно истоцилось. Не находя надлежащего исхода своему боевому чувству, он схватил купца своею дюжею рукой за нос и несколько раз потянул его из стороны в сторону с выражением глубочайшего презрения...

- Н-на паре ездите, вы, безобразники, н-н-а паре! - приговаривал он при этом.

В это время я подоспел на место действия и не без труда увел расходившегося героя. Он то и дело вырывался у меня, подбегал к своим противникам, швырял заплетавшегося обладателя пиджака на траву, сотрясал возницу за шиворот и тормозил купца. Наконец, все еще поворачиваясь, грозя кулаками и ругаясь, он решился все-таки сойти с холмика и расстаться с своими врагами.

- Ах, Андрей Иваныч, Андрей Иваныч, и что вам только за охота драться! - сказал я.

- За правду помереть готов во всякое время! - категорически заявил Андрей Иванович в ответ.

- Да ведь они вас не трогали, какая ж тут правда?

- Конечно, не трогали... Да уж у меня такой характер. Он тут перед гаринскими больно расфорсился, а я ему форсу поубавил. Потому - не безобразь!.. Купчишки! Награбленным форсят...

- Ну, хорошо, - сказал я, смеясь. - А шляпа-то вам чем помешала?

- Шляпа? Это которая на Емельке надета была, купецкая, что ли?

- Ну, да!

Глаза Андрея Ивановича еще горели от возбуждения.

- Не обязан Емелька эту шляпу надевать, - сказал он энергично и тоном бесповоротного убеждения. - Шляпа, шляпа!.. Он есть мужик, значит, носи картуз... Пустяки вы, ей-богу, говорите!.. - неожиданно рассердился Андрей Иванович на меня и зашагал быстрее.

Х

Ближе к Оранкам местность становилась лесистее. Мы уже миновали строения монастырского хутора и опять колесим меж деревьями, следуя за прихотливыми изгибами лесной дорожки. Наконец молодые дубы и клены расступились, ржаное поле набежало

вплоть к опушке, и перед нами открылась небольшая полянка, с трех сторон плотно охваченная лесом. За рожью мы увидели серые избы монастырской слободки, деревянную ограду, темные деревья монастырского сада и весело белеющие над зеленью верхушки церквей. Это и была цель наших благочестивых стремлений, "монастырь на Ораном поле", как его звали в старину.

Так как икона отстала и, кроме того, мы шли ближайшим проселком, то до встречи у нас было еще много времени. В конце "порядка" мы нашли не занятую еще избу и спросили самовар. Андрей Иванович, впрочем, исполняя обычай, прежде отправился в баню, а я, утолив жажду, растянулся в задней избе на рогожке, и мгновенно меня охватил тяжелый сон сильной усталости. До меня долетал поднявшийся навстречу иконе трезвон, я видел Андрея Ивановича, чисто вымытого и с красным лицом, слышал, что он обращался ко мне со словами укоризны, обвиняя в малодушии. Хозяйка, стоявшая тут же, уговаривала оставить меня в покое.

- Ну, нет, никак нельзя, - волновался мой

спутник. - Эстолько места прошел, неужто теперича и владычицу ив встретить?.. Не трог, я его подыму!

И он непременно поднял бы меня каким-нибудь более или менее жестоким способом, если бы в это время трезвон, клирное пение, гул и топот толпы не показали ему, что со мной он рискует не встретить икону и сам. Он бросил мою руку и ринулся из избы. В моих ушах еще некоторое время укоризненно звенели монастырские колокола, потом звон стал тише, и я услышал только ровный шум славного летнего дождя, ударявшего в легкую деревенскую постройку. Наконец несколько капель, упавших мне прямо в лицо с протекавшего потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошел. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало в мои окна. Кругом было тихо, и мне казалось, что между трудным путем, дракой Андрея Ивановича на дороге, между всеми происшествиями этого дня и теперешнею минутой легли целые сутки. Не без усилия натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышел.

На нашем "порядке" было тихо и спокойно. Кое-где устало слонялись богомольцы, бабы сидели на завалинках, в открытые окна виднелись компании за самоварами. Большинство отдыхали или были в церкви, так как всеобщая еще не отошла. За оврагом, на другом "порядке", движения было больше. Здесь раскинулись палатки и навесы деревенской ярмарки. Напуганные дождем, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои несколько промокшие товары. Тут были калачницы с белым хлебом, квасницы с грушевым квасом, по копейке кружка, бакалейщицы с пряниками. Нищие старушки проходили по рядам, подставляя кружки Христа ради. В кабаке было шумно; на площади кучи народа встречались, беседовали, сходились и расходились. Белые рубахи-шушпаны мордовок то и дело мелькали среди русских ситцев и кумачей.

Сквозь открытые монастырские ворота мне была видна паперть церкви с густою толпой народа. Вечерние тени сгущались вокруг монастыря на лесной полянке, очертания предметов в сыром воздухе смягчались, огни

предыконных свечей мелькали в глубине храма, и пение долетало по временам мягкими волнами звуков, примешиваясь к шуму деревенского торга.

Всенощная отходила. Когда я вошел в церковь, старый архиерей уже стоял у выхода и два диакона разоблачали его, произнося установленный обряд. Через минуту архиерея увели под руки, и народ стал тоже расходиться.

На восточной стороне двора я увидел еще одни ворота. За ними, уходя куда-то вниз, виднелись в сумерках деревья сада и утопающий в зелени купол часовни. Я спустился к ней по каменным ступенькам, меня влекло уединение этого угла, тихий шепот деревьев и журчание воды, скрытой где-то в темноте. В часовне оказался бассейн с большою чашей над ним. Шаги гулко отдавались под его сводами. Капли воды срывались с чаши и звонко падали в водоем одна за другой. На восточной стене маячили очертания какой-то большой картины; фигуры слабо выступали из мрака, таинственно и неясно, как будто носясь в воздухе над святым ключом.

# XI

Тихий сумеречный час, шорох деревьев и немолчный звон воды - все это настраивало особенным образом, и в моем воображении поднялись картины прошлого. Здесь, у этого ключа, с этого самого места, где я стою теперь, некогда основатель монастыря, боярин Глятков, увидел чудный огонь на Оранской горе...

"И егда идяше по полю, зовоному Оранскому, и вниде в непроходимый лес, и узре на горе огонь возгнещен. И прииде и никого же обрете близ огня того от человек, но токмо от него выспръ зрит столп вельми светел, досяжуц до небеси... День же бе той сумрачен, и тучи велия хождаху по воздуху, яко не токмо неба, но и солнца невозможно видети, и дождь исхождаше велий во весь той день".

Пораженный этим "видением", так просто-душно и так поэтично описанным в старинной рукописи, боярин Глятков и решил здесь заложить монастырь, в 1634 году, среди лесов, населенных "поганою терюханскою мордвой". Поганая мордва, как и следовало ожидать, оказалась очень недовольна новым

соседством. Монастырю пришлось вынести много превратностей, начиная с волокиты по жалобам мордвы на отнятие у нее земель. Однако боярину удалось волокиту осилить, и государевою грамотой повелено было "пожаловать старца Гляткова с братией лесу вдоль на версту и поперек тож отмежевать; а буде им надобно монастырем для лесу и дров въезжать в мордовские леса, и им въезжать вельеть для всякого лесу и дров опричь бортного дерева". Тогда поганая мордва решилась на другие средства. Много раз слышались вокруг обители грозные крики, много раз мордва с "дерзостным нечестием" восставала на нее, и даже сам основатель, бывший боярин Петр, а тогда уже схимонах Павел Глятков, пал жертвой в 1665 году. Ночью ворвалась мордва в монастырь. Старец кинулся на колокольню, но мордва нашла его там, и он был зверски убит. Его повлекли с колокольни за ноги по ступеням. "От ударов, - говорит составитель описания Оранской богородицкой пустыни, - голова была прошиблена, а от прошибу текла из нее кровь в таком множестве, что ею обогрена была вся лестница". Помощи подать бы-

ло некому, так как иноков было всего восемь человек. А кругом только лес окружал пустынь, - дремучий лес, родственный и дружественный "поганой мордве", которая защищала его от вторжения чужой культуры... Так погиб основатель пустыни.

Терпела обитель и еще многие напасти. Кроме мордвы, приходили в пустынь и поправляли ее "воровские люди", нередко из соседних деревень. Мордва теснила ее "относительно жалованной земли с лесом и угодьями", которые "поганые терюхана" привыкли, конечно, считать своими. Наконец, и от своих жалованных крестьян терпела пустынь, по выражению иеромонаха Макария, "упорство в повиновении". Упорство это доходило до того, что в 1745 году монастырские крестьяне из Нижегородской губернии убежали, чтобы не платить положенного оброка, и поселились в Пензенской и Саратовской губерниях. Во всех этих напастях, кроме заступления богородицы, пустынь оберегалась также и благочестивым радением благодетелей. Так, перечислив во вкладной грамоте даруемые пустыни земли, один из этих благодете-

лей скромно говорит: "И на той земле тщани-ем моим многогрешным собраны из бегов и поселены те беглые крестьяне оной пустыни: Петр Алексеев, у него сын Алексей, а Матфей Алексеев, да Федосий Алексеев, да Сидорка Тимофеев, с женами и детьми. Також прошу и молю, - заключает благочестивый комиссар-жертвователь, - аще наведением супоста-та нашего впредь от оной обители вкладные крестьяне пожелают на тое землю или в дру-гие места бегать и жить, дабы их ловить и за такое скотское и несмысленное дерзновение жестоко наказывать кнутом, посылать на старое ко оной обители жилище, дабы то святое место паче прославлено было, а не пусто".

Несмотря на эти благочестивые меропр-ия с ловлею людей и кнутами, пустынь су-ществовала скудно и трудно. Видно, ни Петр Алексеев, ни Матфей, ни Федосий, ни Сидорка Тимофеев с женами и детьми, ни все жертво-ванные благочестивыми людьми "души" над-лежащим образом к обители не прилежали. "В 1730 году, - как сказано в описи монастыр-ского имущества за тот год, - 4 книги Че-тых-Миней заложены у дворянина у Ивана

Дмитриева Ленивцева в семи рублях с полтиной... а заложил те книги бывший казначей Иларион, по братскому приговору, на время, ради хлебной нужды..."

В 1764 году, по объявлении монастырских штатов, Оранская пустынь, что на Словенской горе, оставлена за штатом, и крестьяне, а равно и уголья у нее были отобраны. Казалось, начинанию Петра Гляткова, видевшего в тонцем сне будущую славу монастыря на осиянной небесным светом Словенской горе, приходил конец. Но именно с этого времени, когда рабы Сидоркины и Алешкины души были изъяты из-под монастырского ярма, и начинается период процветания пустыни. "Единственная надежда, - говорит иеромонах-описатель, - была на чудотворную икону божией матери, и надежда эта оправдалась. В 1771 году открылась моровая язва... В самом Нижнем Новгороде целые сотни людей делались жертвами преждевременной смерти... Тогда, не довольствуясь молитвами перед святынею нижегородскою" вспомнили о чудотворной иконе Оранской богоматери, которая по распоряжению епископа Феофана Чарнуц-

кого и градского начальства, была принесена в Нижний, в кафедральный собор. И вот, во время крестного хода, - повествует Макарий, - над Нижним Новгородом заметили, что носившиеся в воздухе тонкие облака вдруг начали собираться в одно место и сгустились в одно черное облако, понесшееся за Волгу. Вскоре после этого и язва прекратилась. В память этого события благодарные нижегородцы постановили приглашать икону к себе ежегодно и исполнять сей обет свой "в роды родов".

Вместе с тем и отношения к обители Сидорок и Алешек, равно как поганых терюхан, изменились. Бегать теперь от монастыря не приходилось, об угодьях споры прекратились за отобранием последних. Чудотворная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамление воровских и разбойных поползновений окрестных жителей против старцев и являвшаяся как бы воюющей стороной, теперь изливала свои милости, исцеляла немощных, прогоняла грозовые тучи или призывала благодатные дожди на спаленные нивы.

"И процвела есть пустыня яко крин". Не

слышно уже более в обители тревожного набата, дремучий лес не вторит ни жалобным стонам совлекаемого с колокольни старца, ни злобным крикам терюхан, ни святотатственным окрикам удалых воровских людей, ни стонам монастырских крепостных, насильственно собранных из бегов... Кругом монастыря в этот тихий вечерний час смолкает говор тысячной толпы богомольцев; таинственно шепчутся высокие деревья монастырского сада, я я стою, окруженный тенями старины, слушая немолчный звон воды над тем самым ключом, где некогда старец Глятков припадал в умилении у подножия дикой Словенской горы...

Темнело быстро. С востока опять надвигалась туча. Выйдя из часовни и поднявшись на холм, я увидел, что ворота, в которые я вошел, заперты. Задний двор монастыря был пуст, во дворе монастырской школы слышался стук колотушки караульщика.

- Вам выйти, что ли? - спросил у меня мужичок, возившийся около бани.

- Да, вот не знаю, как выйти.

Он провел меня в маленькую калитку.

Пройдя вдоль старой мшистой монастырской стены, мы очутились на небольшом бугре, над оврагом. Место было пустое и тихое. Простой огромный восьмиконечный крест простирал над поляной свои плечи сурово и важно. Над крестом, затеняя полянку, еще более терялось густолиственной головой в вечернем небе, ровно и крепко шумело на ветру громадное дерево.

- Тут, под этим крестом, что миру лежит... и-и, без числа! - сказал мой провожатый. - Кладбища тут была крестьянская, - добавил он. - Потом, слышь, уничтожили. Не понравилась архирею одному, что плачем мы шибко, когда короним своих... Теперь, стало быть, коронимся в другом месте.

Когда я вышел на площадь, торг прекратился. Торговки укладывались и покрывали на ночь товар. Из монастырского двора выходили последние запоздалые, быть может, по кельям, посетители. Какого-то странника выталкивают силой и запирают за ним ворота. Странник громит отцов я собирает около себя кучку раскольников-слушателей... Около кухни трапезный послушник равнодушно выслу-

шивает укоры пришлых из города нищенок.

- Мало, что ли, принесла вам владычица из Нижнего? Нет у вас для богомолка куса хлеба!

Послушник-хлебопек хладнокровно вытирал полую потное лицо.

- Вы должны просить со смирением, а вы дерзостно просите, - сказал он.

- Что я сказала? Только и сказала, что вам, дескать, мордочек своих, что ль, кормить нечем?

- Ну вот видишь: сама язвительные слова говоришь, а хочешь, чтоб тебе подали. Ступай, ступай!..

На площади народ редеет. Только у харчевни Андрей Иванович громко спорил с приехавшими на базар окрестными раскольниками.

- Врешь, не туда гнете!.. - разносился резкий голос неугомонного сапожника.

## XII

На следующее утро я проснулся довольно поздно. Андрея Ивановича уже не было в избе.

Большинство богомольцев уже ушли, что-

бы воспользоваться для пути утренним холодком. Зато из окрестных деревень народу прибывало все больше. Многие шли в церковь, чтобы повидать архиерея, но большинство, кажется, привлекала ярмарка, вступившая во второй день (так называемое подторжье). Завтра, с "отвалом", она должна была кончиться. В числе прибывших было много раскольников из ближних к монастырю деревень, и потому кое-где в кружках кипели собеседования, переходившие по временам в страстные споры, а иногда и в ругательства.

- Вы почему сами себя, например, православными считаете? - спрашивает раззадоренный спорщик.

- А потому, - высокопарно отвечает вопрошаемый, - что наша церковь Христова, на правильной славе стоит во веки веков.

- Никонова вера у вас.

- А у вас Дунькина!..

Я зашел в церковь. Там между народом я увидел двух крестьян, у которых длинные волосы были сбриты на макушках. Заметив, что я присматриваюсь к ним, старик, мой сосед, пояснил, наклоняясь ко мне:

- Раскольники это.  
- Зачем же они бреются?  
- А это у них поверье, что, значит, на них дух святой сходит. Так вот, чтобы легче ему взойти в человека... стало быть, волосы мешают... Называемое это гуменце...

Раскольники стояли истово и по временам крестились двуперстным сложением.

Икона, вынутая из киота, стояла у себя, дома, на южной стороне, невдалеке от архиерейского амвона. Над ней было развешено белое полотенце; народ, как всегда, толпился около нее, каждый, подходя, крестился, многие вытирали загрязненным уже полотенцем глаза, целовали икону и проходили дальше. Поставив перед иконой несколько свечей по поручению, данному неизвестными старушками, я вышел.

На площади мне попался навстречу Андрей Иванович, быстро проходивший среди толпы. Он шел, размахивая руками, не замечая людей и, по-видимому, занятый какою-то мыслью, которая его сильно волновала: губы его что-то бормотали, лицо было задумчиво, сердито.

- А-а, Галактионыч! Я вас ищу...

- Что такое?

- Подите-ка сюда.

Он отвел меня в сторону. Я заметил, что он как будто сконфужен, точно сейчас выдержал баталию и остался побежденным. Лицо его было в поту, глаза растерянно косили.

- Как оно будет правильнее, - спросил он, оглядываясь по сторонам, точно школьник, тайком расспрашивающий у товарища невыученный урок, - то есть как Христос сошел на землю: воплоти или воплоти?..

- Ничего не понимаю.

- Ну, вот, какой вы, ей-богу! Видите: ежели воплоти, - стало быть, голос ударяет вначале, а ежели воплоти - следовательно, уже силу имеет в конце. Ведь это же разница.

- Да зачем вам?

- Стало быть, надо! Потому что я перед людьми оконфужен. Вот видите, какое дело. Стали мы тут говорить о вере... Ну, и я тоже выражал от себя... Да вы не думайте; ей-богу, все правильно говорил, как есть... А один тут из раскольников все мне напротив, все напротив... И вдруг это он мне и говорит, да ты

что, говорит, споришь, а сам еще и разговаривать с нами не можешь. Окажи, говорит, как господь наш Иисус Христос сошел на землю: воплоти или воплоти?\* Ну, я подумал и говорю: "Стало быть, воплоти". "Поэтому, говорит, ты есть невежа и повинен геенне огненной..." Ей-богу, правда. А я, признаться, и сам маленько сомневаюсь: правильно ли я сказал, потому что они - начетчики... Так вот вы мне объясните.

---

\* Один из вопросов вульгарной раскольничьей диалектики. (Прим. В.Г.Короленко.)

- Я думаю, что всего правильнее: во плоти.

- Во-пл-о-о-ти? (Андрея Ивановича очень удивила возможность еще третьей комбинации.) А ведь, ей-богу, пожалуй, верно.

Он хлопнул себя по лбу и дернулся в сторону, намереваясь куда-то бежать.

- Да я не понимаю, Андрей Иваныч, зачем вы об этом спорите? Ведь в этом никакой важности нет, и дух учения вовсе не в ударениях.

- Как вы говорите: дух?

Андрей Иванович остановился, готовясь

не проронить ни одного слова.

- Ну, да, дух христианского учения!.. А ведь это одно праздное словоизмышление, пустяки...

- Так, так, - мотнул Андрей Иванович головой. - Дух - раз (он загнул один палец), словоизмышление - два (он опять загнул один палец). Еще, может, что-нибудь скажете?

- Будет с вас.

- Ладно! Теперь мне бы его найти; я его этим самым словом сейчас на месте ушибу, ей-богу!

Андрей Иванович возбужденно зашагал в толпе, разыскивая глазами своего антагониста, а я провожал сочувственным взглядом его не совсем-то складную фигуру. При всей его беспорядочной страстности, я знал, что в нем бродят, не находя исхода, искренние и глубокие запросы... Мне было досадно поэтому видеть его глубокое огорчение от своей беспомощности перед схоластической диалектикой.

Увы! мог ли я предвидеть в эту минуту, что для моего сожаления вскоре представятся гораздо более основательные поводы?..

### XIII

Андрею Ивановичу нужно было зайти к знакомому мужику в одну из ближайших деревень, носящую многозначительное название Сивухи. Он звал меня, но я чувствовал усталость и хотел сберечь силы для обратного пути. Поэтому мы условились, что он пойдет один, а я выйду спустя некоторое время и потихоньку пойду по дороге, Андрей Иванович меня догонит.

Я так и сделал. Пошатавшись еще по базару, напившись чаю и расплатившись с хозяевами, я надел свою котомку и тихонько поплелся прямою лесною дорогой.

Оказалось, однако, что Андрей Иванович опередил меня. Выйдя из лесу, я вдруг услышал его голос:

- Эй, Галактионьч, подите сюда!

Он лежал на траве, среди целого общества, у зеленого шалаша, построенного под лесом в стороне от дороги. Синий дымок вился тонкой струйкой над землей, теряясь в кустарнике. Над огоньком висел котелок, и какой-то мужик с мохнатою головой, без шапки и босой, мешал в котелке ложкой. Другой, тоже

раздетый, лежал у огня, облокотившись подбородком на руки. Человека три в сапогах и шапках, видимо, проезжие, остановились на время. Невдалеке стояли нераспряженные телеги, а лошади щипали у кустов траву, обмахиваясь хвостами. Еще какой-то низенький мужичок, весь серый и белесый, со светлыми глазами и незначительными чертами лица, которые хранили выражение постоянной недоумелой улыбки, сидел в стороне от других в телеге, то и дело пожимаясь от комаров и почесываясь.

Поздоровавшись, я пожелал узнать, зачем здесь шалаш и что они делают в поле далеко от деревни.

- Бекетчики, - сказал лежавший на земле, - значит - гля бекету...

Видя, что я не совсем понял, другой, мешавший ложкой в котле, прибавил:

- Гля разбою, стало быть, гля грабежу мы поставлены.

Я догадался, что это сельский пикет. Сняв котомку и положив ее под голову, я с наслаждением растянулся на сыроватой траве. Над моею головой лапчатые листья клена, на-

сквозь пронизанные лучами солнца, качались на длинных стебельках, купаясь в синем воздухе, и мне казалось, что они трепещут от такого же сознательного наслаждения, какое в эту минуту переполняло меня. Между тем в компании около огонька начался опять разговор, прерванный моим приходом. Первый начал Андрей Иванович.

- Ну, ну, говори дальше, не опасайся... Товарищ это мой, простяк!

- Ну вот, больше ничего. А что полагаю я: не может быть, значит, чтобы нам провалиться, потому как мы при отцах-дедах наставаны господами и живем, стало быть, на отцовском месте. Потому что господа, значит, об монастыре радели. Мало ли их, господ, и теперича на кладбище лежит. Вот была, слышь, война Севастопольска. Я мальчонкой был, и то помню: выбежали мы с ребятами за околицу, глядим, везут из лесу в черной телеге смоляной гроб, а в гробу, слышь, полковник убитый в монастырь едет корониться. Да не то что полковники, тут и генералы лежат...

- Не туда гнешь! - строго сказал Андрей Иванович. - Ты это что же на генералов свер-

нул? Ты о кудеснике доскажи. Он, видишь, тебе какое слово сказал. Стало быть, ты ему и отвечай, а генералов оставь!

- Дэ-э!.. То-то вот... - подтвердил один из проезжих мужиков не без ехидства.

Я понял, что опять попал на словопрения, и мне стало ясно взаимное положение сторон. "Бекетчик" Иван Савин - мужик из подмонастырской слободки, быть может, прямой потомок какого-нибудь Петра Алексева или Сидорки Тимофеева, которых в старые годы, как мы видели выше, сыскивали, имали, били за "несмысленное и скотское дерзновение" кнутом и водворяли на прежнее жилище, дабы "обитель паче прославлена была, а не пуста"... Потомки Сидорки Тимофеева, давно уже лежащие под старым крестом со всею "силой" похороненного здесь мира, примирились с обителью... Но кругом осталось много непримирившихся... Собеседники Савина - беспоповцы из окрестных деревень, возвращавшиеся на этот раз с базара. Предмет спора - будущая судьба "Ораного поля"... В старобрядческом населении, жадно подхватывающем все проявления человеческой слабости

среди иноков обители, носится легенда, гласящая, что некогда всему этому месту суждено провалиться сквозь землю, как Содому... Люди старой веры угрожают этим также и слободке... Андрей Иванович на сей раз являлся в не совсем-то подходящей ему роли посредника или председателя на этом полевом диспуте у "бекетного" шалаша...

Иван Савин насчет кудесника ответил не сразу. Я не глядел на него, но ясно представлял себе его спокойное лицо, простодушный взгляд голубых глаз, мохнатую белокурую голову и неторопливые движения. Он продолжал помешивать в котелке, и когда заговорил опять, то в его голосе слышалась спокойная уверенность человека, не навязывающего своих взглядов другим, но зато твердо убежденного в том, что он говорит.

- А насчет кудесника так это верно... Была, слышь, у одного монаха черная книга, и по этой самой книге он до всего доходил... Всю ночь, бывало, огонек у него в келье: мастерит что-то, либо эту книгу читает. И сделал он земное подобие, вроде бы сказать шар земной, и тут тебе солнце, и земля, и звезды. За-

ведет пружину - и пойдет эта земля в ход, и солнце тебе выкатывается, и луна круг земли ходит, и, стало быть, - звезды тоже по своим местам... Как у бога, так и у него... в аккурат!

- Ну, в этом, я полагаю, греха нету, - сказал Андрей Иванович, - потому это называемый глобус.

Я повернул голову, чтобы видеть, какое впечатление произвели эти слова городского человека на собеседников. Услышав его приговор, снабженный таким мудреным словом, старообрядец глядел несколько секунд растерянным взглядом.

- Нету греха, говоришь? - в таком-то деле?..

- То-то, сказывают, в этом еще греха нету, - продолжал Савин, - потому что это подобие на славу божию, значит - для вразумления человеков... Ну, а вы послушайте дальше. Стало быть, сколько-то прожил он и помер скорою смертью, без покаяния. Пал у себя в келье и умер.

- Оно и видно, что уж бог не потерпел, - вставил раскольник.

- Ну, значит, как помер он, надо было сун-

дуки вскрывать. А замки у него так хитро прилажены: бились, бились - ничего не поделают. Вот и позвали, слышь, для этого дела нашего деревенского одного... Мастер тоже был на все руки. Он и отпер.

- Ну?

- Нехорошо, действительно... В одном, слышь, сундуке деньги так пачками и лежат, веревочками обвязаны. Он, значит, с иконой-то ездил не раз... А как другой открыли, так тут уж - тьфу!.. И сказать грешно: лежит в сундуке сделана девица, как быть живая...

Старообрядец, поднявшийся на локоть, с горящими глазами, не вытерпел и, перебив рассказчика, досказал сам:

- И, слышь, толкнуть эту девицу под ложечку, - сейчас она срамные слова может говорить...

- Слов-то, мы положим что, не слышали, - сказал Савин.

Андрей Иванович молча и сосредоточенно покачал головой. Ободренный его видом, старообрядец заговорил с страстным возбуждением:

- Да ведь это, братец мой, что он говорит!..

Ведь уж въявь для всех знамение было от бога, что нельзя ему, батюшке, больше ихнего места терпеть. Насмердело!

В котелке закипело. Савин отодвинул котелок от огня и затем сказал своим ровным голосом:

- Знамение, братец, понимать тоже надо, к чему оно дается. Видите опять это верно он говорит, что было знамение. Стало быть, на "порядке" у нас - видели, может, часовенька махонькая стоит. Тут прежние годы вертеп был. Этто вот завтра, к отвалу ярмарки, мордва соберется, видимо-невидимо. Так вот в прежние года, не очень давно, у них в этом месте игрища была; девки, бывало, хороводы водют, песни поют, а парни на гармониях играют, в дуды дудят... И все, значит, у самого монастыря; конечно, нехорошо, само собой. Бывало тут всего... И пришла, знаешь, один раз к игрищу этому девица, сторонняя какая-то. Мордва - вся белая, а девица эта в черном платье, только голова белым платком повязана. Вот пришла, стала средь игрища, стоит, этак руки вытянула, глазами в одно место смотрит. А чья девица, неизвестно. Вот разо-

шлась мордва с игрища, а она стоит. Ночь пришла, - она все ни с места. Наконец, того, поверите ли, на заре вышли наши бабы коров гнать... Что за диво: стоит девица середь полянки, ровно статуи, перепугала народ весь... Стали которые подходить, спрашивают: "Что, мол, девонька? По какой причине стоишь?" Ни слова. Ну, тут уж увидели, что дело это не простое. Приехал исправник Воронин, свели ту девицу силом с места, и стала она после того объяснять: "Вышла, говорит, на игрищу и вдруг это вижу: все кругом провалилось... Я одна на малым месте стою, и ступить мне некуда... А икона, значит, на облаке в небо поднялась..."

- Ну, вот видите! - подхватил старообрядец. - Ведь уж это въяве обозначает, что ихнему месту не стоять...

Андрей Иванович сосредоточенно покачал головой и сказал, обращаясь к Ивану Савину:

- Поэтому, вижу я, ваше дело ай-ай плохо...

- А я так полагаю, - ответил Иван Савин, - не может быть, чтобы нам провалиться, потому ты рассуди сам, милый человек: первое дело игрищу с этих самых пор уничтожили, от-

служили на том месте молебен с иконой и поставили часовенку...

- Да что игрища!.. Будто в одной игрище дело, - перебил возражатель, насмердело ваше место перед господом, аки Содома!

Иван Савин снял совсем котелок с огня, попробовал кашу и сказал другому "бекетчику":

- Готово, дядя Силантий, пущай вот остынет маленько. - Затем, обратясь к собеседнику, ответил: - Это, брат, ты сверх ума говоришь. Это неизвестно. Конечно, грешны и мы, а все за монахов, авось господь с нас не взыщет. Они особо, мы особо... потому мы разве монахам молимся? Мы владычице молимся, вот кому... Тоже ведь и об вас было знамение...

- Мало ли! - упрямо сказал старообрядец и затем поднялся. - Пора и запрягать нам.

Оба они с товарищем пошли к лошадям.

Белесый мужичок, сидевший в телеге и слушавший очень внимательно весь разговор, подошел к огню и, почесывая руками брюхо, сказал, лукаво подмигивая в сторону ушедших:

- Не любят... Как про них заговорили, им и

запрягать надо...

И затем, постояв несколько секунд, он опять улыбнулся и сказал:

- А у нас, слышь, еще кака-то новая вера прискочила. Астрицка, что ли, сказывают. Часовню хотят строить.

- А какое же, говоришь, знамение об них? - обратился Андрей Иванович к Савину.

- Да вот знамение тоже не малое. Ходит тут паренек ихний, безумный. Это недавно целую деревню спалил, а прежде того у нас в монастыре не в урочное время на колокольню забился и давай звонить... Народ весь перебулгачил. Просто сказать - юродивый паренек этот. А отчего стал юродивый, так вот от чего. Был он у них за первеющего начетчика и на радениях ихних заместо попа читал. "Вот, говорит, однажды, - сам ведь и рассказывает это, когда в себя приходит, - много, говорит, читал, толковал от ума, в перстах божество разбирал... Устал. Выхожу, говорит, на крыльцо, стал, говорит, супротив ветру, прохлаждаюсь маленько. А дело вечернее. На небе звезды горят и луна стоит, - светло, как вот днем. Только, говорит, слышу, вдруг тре-

щит что-то над лесом. Оглянулся туда: летит поверх лесу змий крылатый, а-агромаднейший змий летит, весь пламенем пышет и трещит так, ровно бы в трещотку... Оглянуться, говорит, не успел я, - уж он полнеба покрыл и прямо на нашу деревню, да ко мне, да пасть расставляет..." Вот ждут-пождут в избе, а парня все нету. Вышли за ним, а он лежит пластом, как неживой. С тех пор и ума решился. Когда и опомнится, так все-таки ненадолго...

- Галактионыч, вы не спите? - спросил у меня Андрей Иванович.

- Нет, Андрей Иваныч, не сплю.

- Слушаете?

- Слушаю.

Он помолчал, по-видимому ожидая от меня еще что-то, потом сказал (я представлял себе при этом его наморщенный лоб и сосредоточенный взгляд):

- Удивительное дело, право!.. Вот мы сколько лет в городах живем и никаких чудес не видали. А у вас кругом, куда ни повернись, чудеса... Или уж просты вы очень...

- Ах, милый! - сказал Иван Савин. - Нешто можно городского человека к мужику приме-

нить?.. Ты вот, скажем, сапожник. Купил ты товару, сшил сапог, несешь его к барину или, будем говорить, к купцу. Сейчас он смотрит: сапог форсистый, товар хороший, работу твою знает, и спрашивает он у тебя цену. Ты, к примеру, просишь пять рублей, он тебе - четыре. А уж оба верно знаете, что за четыре с полтиной сапог этот идет. Ежели, скажем, нужда тебе, ты опять у него же просишь. Так ли я говорю?

- Ну, ну!.. к чему только ты это применишь?

- А к тому, что, значит, ты в своей воле живешь, и должен ты больше уважать давальцу. А мужик... он кругом как есть в божьей воле ходит. Сейчас вот парит крепко, а из-за лесу вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему, только что разве промокнешь. А мужик - уж он соображает, стало быть, к чему господь батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она полезительна, и мы должны бога благодарить. А иной раз бывает: хлеба налились, вдруг холодом пахнет, побежит-побежит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать, икону мы подымаем,



- В прежние года много бывало. А теперь не слышно. В книжках вот писано... Значит, про моровую язву и потом насчет болящих...

- А у нас так вот была же чуда от иконы, - вмешался белесый мужичонко, - и, слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городе купчиха одна, и дочь у той купчихи была хвора. Скрючило ее с тринадцатого году, ноги отняло, и не стало ей росту. Все, бывало, на лежанке сидит, и, ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть малая девчонка, а уж в ту пору было ей по семнадцатому году. Много тоже молились они, что икон поднимали, - все не берет сила!.. Почаевска, слышь, и то не могла помочи ей... Только раз приснился той девице старичок седенький: "Сходи, говорит, ты, скорбная девица, к Николае, в Н-ское село". Ну, они и поехали. И ведь что думаете вы: положили девицу наземь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала: как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло, - значит, сила изшла. И с тех пор выпрямилась девица вполне и такая стала красавица!.. Приехала через три

года в то село с матерью, - священник ее и не узнал. "А где же, говорит, болящая?" - "А это, говорит, я самая". За хорошего жениха замуж вышла, право!.. Своя лавка у него в городе, и капитал хороший... Вот, братцы, удивительная чуда была у нас! - и белесый мужичонко посмотрел на нас довольными глазами.

- Конечно, бывает, - сказал Иван Савин.

- Галактионыч! - окликнул меня опять Андрей Иванович. - Слыхали вы это?

- Слышал.

- А как думаете, может ли это быть?

- Я думаю, что он не врет.

- Э, не туда гнете: не врет!.. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут... А вы скажите, в чем сила самая? Скажем так: холере надо уже и самой прекратиться, - тоже ведь не вечно ей быть. К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла - чудо!.. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое: тучу ветром пригнало. А ежели девицу теперь, которая скрючивши три года, и вдруг выпрямляет и вполне, значит, делает из нее человека... Это как?

- Вера, Андрей Иванович...

Андрей Иванович опять выжидающе по-

молчал.

- Вера, вы говорите?.. То-то вот и есть. Э-эх, господа, господа!..

И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.

#### XIV

Он был сильно не в духе, и хотя вообще очень трудно было уследить каждый раз причины той или другой перемены в его довольно причудливом настроении, но на этот раз мне казалось, что я его понимаю. Рассказы Ивана Савина, его спокойный голос, бесповоротная уверенность и очевидная правдивость - все это произвело на горожанина сильное впечатление. Он невольно поддавался настроению веры, чудес и непосредственного общения с таинственными силами природы. Между тем во мне он, с обычною чуткостью нервных людей, улавливал совершенно другое умственное настроение, не менее бесповоротное, - и это мешало цельности его впечатления. Формулировать ясно свои вопросы он не мог, я на его вызовы не поддавался, и потому Андрей Иванович ворчал что-то про себя и сердито укладывался возле шала-

ша.

- А что, Андрей Иванович, не пойдём ли?..

- Куда вам торопиться! - ответил он ворчливо.

Я не без удивления заметил, что, обыкновенно бодрый и неутомимый, он поворачивался теперь лениво, с некоторым трудом. Вследствие этого у меня невольно мелькнуло подозрение относительно какого-нибудь нового приключения во время посещения знакомого в Сивухе.

Я не возражал. Мне было приятно бродить среди этих полей, не рассуждая и не заботясь о том, дойдём ли в назначенное время до намеченного ранее ночлега или будем путаться ночью где попало.

Вскоре Андрей Иванович захрапел. Беле-ый мужичонко, ехавший откуда-то издалека, запрягал лошадь, "бекетчики", перекрестясь, уселись за свой котелок, и до меня долетали слова тихого разговора. Сначала дело шло о каких-то двух с полтиной и о новых подшинах для купленной недавно телеги. Но через некоторое время, когда листья клена, на которые я смотрел, начали расплываться и сли-

лись в какой-то неопределенно зеленый навес, охвативший меня со всех сторон, - из этих двух голосов выделился грудной баритон Ивана Савина. Он говорил что-то неторопливо, долго, монотонно. Слов я не помню, помню только, что сначала мне было смешно, потом странно. Я чувствовал, что постепенно, по мере того как даже зеленый навес исчезает от взгляда, я попадаю все более и более во власть Ивана Савина. И вдруг я увидел какое-то странное небо, совсем не то, какое видел недавно, и странные облака ходили по нем, точно туманное стадо, а Андрей Иванович гонял их с одного края на другой, размахивая гигантскими руками. В это время я помнил еще, что смотрю на все это чьими-то чужими глазами. Но потом все потемнело; где-то вдали мерцал одинокий огонек из кельи монаха-кудесника, потом полетел змий, трещавший, как трещит пожар в сухих постройках, и, наконец, появилась неизвестная девица в черном платье и белом платочке. Вслед за ее появлением земля дрогнула от какого-то глухого далекого удара. "Беда, - сказал я себе голосом Ивана Савина, - беспрерывно"

должны мы теперича провалиться". И тотчас же решил, уже сам от себя, что гораздо лучше... проснуться.

## XV

И я проснулся. В первую минуту я не мог сообразить, где я, и что со мною, и отчего мне трудно двигаться с места... Над моею головой тревожно бились листья клена, но теперь они не сверкали от лучей солнца в яркой синеве, а бледно рисовались на темно-свинцовом фоне. Громадная туча поднималась из-за лесу и все ширилась, тихо раскидывая по небу свои крылья. Из-под нее порывами налетал ветер, и вдали ворчал гром.

- Вставайте скорее, Андрей Иваныч, надо хоть до деревни дойти.

Огонь погас. "Бекетчики" спали в шалаше. Проезжие уехали. Было поздно, и надвигалась гроза. Андрей Иванович проснулся, потер глаза и, в свою очередь, стал будить какого-то мужика, лежащего у шалаша. Должно быть, он подошел к нам, когда мы уже спали.

Мужичок заворчал что-то и поднялся.

- Вставай, дядя, а то промокнешь... Э, да, кажись, знакомый. Видал я тебя где-то...

Мужичок как-то сморгнул и сконфуженно ответил:

- Да ведь уж нигде, как в Сивухе.

- То-то в Сивухе!.. А позвольте мне, почтенный, узнать, вы за что меня колотили, какая может быть причина?

- Господи! - удивился я. - Андрей Иванович, неужели опять?..

- Засаду сделали. Емелька, подлец, научил. Да еще вот этот почтенный ввязался.

- Да ведь мы, - конфузливо оправдывался мужик, - мы нешто от себя? За людьми... Как люди, так и мы... Сказывают: больно уж ты, милый, озорник большой...

- А ты видел, как я озорничал? - спросил Андрей Иванович с выражением сдержанной злобы в голосе.

- Не видал, милый, не совру... Потому выпитчи был.

- Посмотрите вы на этот народ: сами нажрут, а потом других колотят... На-цы-я, нечего сказать! - неожиданно для меня прибавил Андрей Иванович с патриотической горечью.

- Да ведь мы что? Мы действительно вы-

питтчи, - смиренно говорил мужик, у праздни-ка были, у сродников. Ну, и... выпитчи, это верно... Так в этом беды нету, потому что мы сами себя ведем смирно... спим. А ты, сказывають, на ночлеге никому покою не дал... Мы, конечно, что, а бабы жаловались: так, слышь, всю ночь шаром и катается, все одно еж по избе...

- Тьфу! - сплюнул Андрей Иванович и, не говоря более ни слова, быстро надел котомку и пошел по дороге.

Я догнал его, и мы пошли молча. Андрей Иванович, видимо, злился и унывал. Нежданно приобретенная слава, которая могла достигнуть до ушей Матрены Степановны, беспокоила его всего более. Результаты сивухинского боя, о котором он не распространялся, тоже, вероятно, присоединили немало горечи к его настроению. Наконец, туча покрыла большую половину неба и грозила ливнем, а до деревни было еще далеко.

- Ник-когда не пойду больше! - злобно сказал Андрей Иванович. - И не зовите! Грех один с этим народом. - И потом он меланхолически прибавил: - А перед хорошим челове-

ком я вполне оказался обманщиком.

- Это вы о ком? - спросил я.

- О ком? - известно, об Иване Спиридоновиче, об давальце. Ведь сапогам-то срок сегодня, в аккурат... Чай, дожидается.

- С которых же пор он у вас хорошим человеком стал? Давно ли вы на него сердились?

- Сердился!.. Странно вы говорите: мало ли что мы сердился!.. Мужик на царя три года серчал, а тот и не знал. Так и мы. А об Иване Спиридоновиче я так обязан понимать, что он мне первый благодетель. Когда ни приходи: рупь-два со всяким удовольствием. Конечно, после того в в цене понажмет...

- Ну, вот видите!

- Ничего тут не видно... Нашего брата ежели не нажимать, мы совсем бога забудем... А что: на лице у меня синяков нет?

Я внимательно осмотрел лицо Андрея Ивановича и дал успокоительный ответ.

- И на том спасибо! Семейному человеку это всего хуже, - докторально объяснил он. - Семейного человека лучше ты всего оглоблей исколоти, а лица и рукой не тронь.

- Ну, уж...

- Чего ну? Много вы понимаете!

Я вспомнил про Матрену Степановну и потому не возражал более. К тому же Андрей Иванович, угнетаемый обстоятельствами и готовившийся к "хомуту", совершенно изменился. Со мной стал строптив и раздражителен, о "нации" говорил с презрением, зато о купечестве и давальцах отзывался в меланхолически почтительном тоне. Буйный демократизм первого дня нашего путешествия совсем с него схлынул.

Я отчасти приписывал это близкой грозе.

Туча заволокла уже небо и теперь все сгущалась и все падала книзу, опускаясь над полями, на которых побелевшие и поблекшие хлеба бились и припадали к земле. На темном фоне этой тучи несколько оторванных клочков тумана, прохваченных опаловыми отблесками, неслись куда-то тревожно и быстро, точно запоздалые всадники, убегающие вдоль тяжелого фронта атакующей колонны. Гром перекатывался сердитее и гулче, и по временам яркая молния, извиваясь зигзагами, бороздила набухшие грозою тучи.

Дорога казалась пуста. Мы обогнали на

холме только глухого еврея-солдата, которого встретили в первый день. Он начал рассказывать нам о том, как он потерял платок и вернулся за десять верст в надежде разыскать его. Кроме того, он проливал кровь за веру и отлично играл на бубне... Все это было когда-то, в далеком прошлом, а теперь он глух, и беден, и несчастен... Голос его звучал в напряженном воздухе как-то особенно резко и однотонно. Заметив, однако, что мы мало обращаем на него внимания и, кроме того, несмотря на свою глухоту, расслышав сильный громовой раскат, он вдруг подобрал полы своей серой шинели и пустился бегом по дороге.

Рожь гнулась и качалась на нивах, лес, синевший впереди, побледнел, расплылся и исчез, по полям шумно стремились к нам навстречу колеблющиеся столбы ливня, соединявшего небо с землею...

- У праздника, нечего сказать! - произнес Андрей Иванович, окидывая безнадежным взглядом пространство, охваченное пеленой дождей и туманов.

Затем он принялся быстро укладывать в

котомку новый картуз, между тем как первые  
капли гулко шлепались о дорожную пыль...

Июль 1887